

### «Воспоминания» и «Земские соборы» Л.В. Черепнина

Ценность воспоминаний как исторического источника (при всей их неизбежной субъективности) не подлежит сомнению. Но, наверное, вдвойне ценны мемуары, вышедшие из-под пера профессионального историка, поскольку он не может не сознавать того, что написанное им становится не просто «завещанием потомству» или собранием «анекдотов дней минувших», а частью большого исторического полотна, на котором каждая изречённая (а порой и неизречённая) мысль становится ещё одним мазком кисти, придающим картине целостность и достоверность. Мемуары историка позволяют увидеть прошлое в преломлении сознания человека, понимающего свою ответственность перед исторической наукой. Выход в свет таких воспоминаний неизбежно становится событием, не могущим остаться незамеченным. К числу таких событий относится недавно осуществлённая публикация воспоминаний выдающегося отечественного историка Льва Владимировича Черепнина. Выдающийся советский учёный оказался последним исследователем, посвятившим монографическое исследование изучению проблем истории Земских соборов от момента их зарождения в середине XVI в. до постепенного угасания во второй половине XVII столетия. Книга о соборах стала последней монографией историка, она увидела свет уже после кончины автора<sup>1</sup>. В дискуссии о вышедшем двухтомнике (первый том содержит мемуары Л.В. Черепнина, второй – переиздание его последней монографии о Земских соборах) приняли участие член-корреспондент РАН П.Ю. Уваров (Институт всеобщей истории РАН), доктора исторических наук С.В. Мироненко (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и Н.В. Сеницына (Институт российской истории РАН), кандидаты исторических наук Н.И. Никитин (Институт российской истории РАН) и В.В. Тихонов (Институт российской истории РАН).

**Виталий Тихонов: Л.В. Черепнин в зеркале своих мемуаров**

*Vitaliy Tikhonov (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow):*

*L.V. Tcherepnin in the mirror of his memoirs*

В последние годы вышло в свет немало воспоминаний известных отечественных историков. Одни из этих публикаций прошли почти незамеченными, другие вызвали резонанс и споры, не выходящие, правда, за пределы профессионального круга. Но мемуары Л.В. Черепнина даже на этом фоне вызывают неподдельный интерес. Во-первых, масштаб личности историка и его роль в советской исторической науке заставляют ждать от его воспоминаний панорамной и в то же время насыщенной конкретными фактами картины жизни советских историков в непростое время. Интриги добавляет и тот факт, что

---

<sup>1</sup> Черепнин Л.В. Моя жизнь. Воспоминания. Комментарии. Приложения. Т. 1 / Сост., общ. ред. В.Д. Назарова. М.: Языки славянской культуры, 2015. 400 с.; Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2015. 432 с.

воспоминания публикуются спустя много лет после смерти автора, что делает их своеобразным срезом эпохи, в которую они создавались. Во-вторых, образ Черепнина как учёного и человека до того формировали небольшие, как правило апологетические, очерки о его жизни и научном творчестве, в большинстве случаев написанные его же учениками, или воспоминания о нём других историков. Не всё в последних оказывалось лицеприятным. Достаточно вспомнить мемуары Н.И. Павленко<sup>2</sup> и А.А. Зимина<sup>3</sup>, где Черепнин предстаёт фигурой скорее трагической, чем величественной. С их точки зрения, безусловно талантливый историк растратил себя на построение карьеры и стремление подстроиться под требования властей предрежащих. Публикация воспоминаний самого Черепнина теперь позволяет составить представление о нём не с чужих слов, а «из первых уст».

Мемуары готовились к изданию большим коллективом под руководством ученика Черепнина В.Д. Назарова. Издатели многое сделали, чтобы публикация соответствовала самым высоким археографическим стандартам. Здесь можно найти и археографическое описание, и подробные комментарии, и именной указатель. Текст снабжён рядом приложений: основными датами жизни Черепнина, литературой о его жизни и творчестве, библиографией печатных трудов и, наконец, хронологическим списком трудов, дополненным по сравнению с уже публиковавшимся. Всё это делает издание незаменимым справочником по жизни и научному творчеству историка. Тем не менее некоторые исследователи уже посетовали на большое количество опечаток и пунктуационных ошибок в публикации<sup>4</sup>.

Воспоминания охватывают жизнь учёного до середины 1940-х гг. В.Д. Назаров во введении датирует начало работы над рукописью апрелем—июнем 1970 г., а её завершение — весной—летом 1971 г. Из текста введения можно сделать вывод, что для его автора не совсем понятны мотивы написания мемуаров. Он предполагает, что на их создание Черепнина могла подвигнуть работа над проблемой московской исторической школы, поскольку деятельность «последней генерации прямых учеников» пришлась именно на 1920—1940-е гг. Возможно, так оно и было. Но, как представляется, куда вероятнее вполне традиционная причина написания мемуаров — желание подвести итог жизни. Причём об этом прямо пишет сам Черепнин в самом первом абзаце воспоминаний: «Я давно уже собирался написать записки о своей жизни. Зачем? Не знаю. Вероятно, для того, чтобы ещё раз пережить всё прожитое. Но сесть и начать писать было трудно, и я всё откладывал. Однако дальше уже откладывать нельзя, ибо недалёк тот час, когда будет поздно. Надо садиться и пробовать» (т. 1, с. 11).

Куда важнее и интересней другой вопрос — почему написание мемуаров было прервано? По мнению В.Д. Назарова, «Лев Владимирович предполагал рассказать о личном опыте становления историка-профессионала в предвоенных 1920—1940-ми годами обстоятельствах. Точкой, когда процесс становления завершился, он посчитал защиту докторской диссертации в 1946 г.» (т. 1, с. 7—8). Данное предположение не выглядит убедительным. Во-первых, в тексте воспоминаний нигде не оговаривается, что Черепнин хочет ограничиться

<sup>2</sup> Павленко Н.И. Воспоминания историка // Родина. 2010. № 9. С. 101—102.

<sup>3</sup> Зимин А.А. Храм науки // Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века. М., 2015. С. 168—186.

<sup>4</sup> Кистерев С.Н. Жизнь Л.В. Черепнина глазами его самого и его современников // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 14. М.; СПб., 2016. С. 45.

только этим периодом, хотя обычно такие заявления делаются в самом начале. Более того, процитированный ранее первый абзац воспоминаний позволяет предположить, что они задумывались как осмысление всей жизни. Во-вторых, текст доводится до момента защиты диссертации, но на этом не заканчивается, а продолжается и обрывается явно на полуслове. Нет никаких указаний на то, что Черепнин хотел поставить точку. Причина прерывания работы над мемуарами остаётся под вопросом. Решение этой проблемы требует детального изучения всех фактов и обстоятельств, связанных с написанием воспоминаний.

В «Моей жизни» можно обнаружить несколько мемуарных образов: эпохи, в которой живет автор, его современников и самого Черепнина, его рефлексия над тем, что с ним случилось, и как он себя вёл в различных ситуациях<sup>5</sup>. От того, насколько эти образы тесно переплетены и насколько насыщено их фактическое наполнение, зависит качество и информативность мемуаров.

Жизнь Черепнина пришлось на эпоху масштабных социально-политических потрясений – революции, войны, ломка старого и построение нового общества, массовые аресты и множество других событий. Воспоминания начинаются с картин дореволюционной России. Здесь можно найти небольшие зарисовки о жизни Рязани, Вильно и Москвы. Есть описание и помещичьего быта пензенских землевладельцев Шибаевых, у которых Черепнины проводили лето. По признанию самого автора, в женском окружении он рос изнеженным ребёнком. В тексте встречается и рефлексия Льва Владимировича относительно его восприятия социального мира русской деревни: «Сейчас мне странно и дико, что, живя каждый год по несколько месяцев в помещичьем имении, я не знал деревни, не знал крестьян, их отношения с барами... Когда я стал разбираться в классовой структуре общества, мне много мучительных переживаний доставил вопрос, – как мне относиться к Шибаевым: они близкие моей семье люди, они сделали нам много хорошего, но они принадлежат к общественной группе, которая живёт за счёт других» (т. 1, с. 31–32). Конечно, «классовый анализ» – это классический пример того, что впечатления прошлого согласуются с правилами эпохи, когда пишутся воспоминания.

С таким же феноменом мы сталкиваемся, когда Черепнин вспоминает настроения в тылу во время Первой мировой войны. Описывая патриотический подъём, охвативший его и многих знакомых, он снабжает это комментарием: «А кругом распространялся шовинистический угар» (т. 1, с. 32). Тем не менее подобные оценки не заслоняют интересный массив информации об эпохе. Февральская революция осталась в памяти Черепнина как «знаменательный праздник: красные флаги и красные банты, улыбки, объятия, поздравления» (т. 1, с. 33). Интересно, что Черепнин признаётся: одно время он защищал монархию, поскольку считал династию Романовых законно избранной. Затем отдал свои симпатии кадетам, однако давление среды, настроенной революционно-демократически, поколебало и «кадетизм» подростка. «Но верный политический компас я нашёл ещё не скоро» (т. 1, с. 34), – признаётся мемуарист.

Не приходится сомневаться, что «верный политический компас» в данном случае – это большевики. Октябрьскую революцию окружение Черепнина встретило явно неоднозначно: «Советская власть победила. Как к этому отнеслись мои родные, близкие? Сейчас, через столетия, очень трудно ответить на этот вопрос. Конечно, значения этого акта никто из них не понимал.

---

<sup>5</sup> Попытку анализа личности Л.В. Черепнина на основе его воспоминаний предложил С.Н. Кистерев (*Кистерев С.Н.* Указ. соч. С. 45–63).

Но он не был встречен недружелюбно. Скорее была некоторая растерянность, ощущение неясности, раздумье, куда же дальше поведет история, сколь прочна новая власть» (т. 1, с. 37). Представляется, что автор смягчает реакцию на захват власти большевиками его семьи, быстро переехавшей в Крым, подальше от эпицентра событий.

Крым времён Гражданской войны — ещё одна красочная страница воспоминаний. Конечно же, гимназист не мог внимательно следить за обстановкой, многого он просто не знал, но его воспоминания в этой части, несомненно, заслуживают внимания. Особенно интересна передача восприятия гимназистами происходящего вокруг: «До нас доходили слухи о подпольных организациях большевиков, об участии в них молодёжи. Но крымские власти делали всё возможное для того, чтобы скомпрометировать подпольщиков. Клеветали на них, говоря, что они не революционную работу ведут, а устраивают оргии, проводят ночи в разврате и непотребстве. А мы, гимназисты, тогда совершенно ещё не представляли себе большевиков, верили и не верили тому, что о них говорят, и боялись их» (т. 1, с. 59). Впрочем, по уверению Черепнина, уже тогда он клеймил «белогвардейщину» и считал приход большевиков неизбежным. О красном терроре в Крыму он высказывается вполне в духе времени написания мемуаров: «Время было суровое. Люди исчезали в Чека. Это была логика классовый борьбы, закономерная и неизбежная. Но нам трудно было её понять, особенно применительно к живому человеку, с которым только вчера мы пили чай, шутили, смеялись» (т. 1, с. 65). Но уже здесь заметно, что репрессии им не одобрялись. Чтобы смягчить как-то это впечатление, Черепнин даёт описание похорон жертв белого террора, укрепивших в нём веру в правильность большевистского пути: «Тогда же я пришел к мысли, ...что надо не сворачивать с пути, указанного большевиками, а всем на него становиться» (т. 1, с. 66). Тем не менее Черепнин так и не стал правоверным большевиком. Ему претил классовый радикализм, замешанный на репрессиях. Это нередко прорывается в воспоминаниях.

Очевидно, что молодой человек, следуя традициям семьи, после окончания гимназии стремился поступить в университет. Это было непросто, поскольку Черепнин, как дворянин, попадал в категорию «бывших людей». Описывая годы учёбы в МГУ, Черепнин с неодобрением отзывается об антиинтеллигентской риторике, заполонившей стены старейшего университета страны. Так, декан факультета общественных наук 1-го МГУ философ В.К. Серёжников «неоднократно акцентировал на студенческих собраниях внимание на необходимости “гигиены в социальной сфере”». И далее компромиссный, но такой характерный для Черепнина комментарий: «Мысль само по себе верная, но в высказывании её декан не всегда соблюдал должный такт» (т. 1, с. 87).

Огромный интерес вызывает описание среды историков 1920-х гг. На страницах воспоминаний можно найти рассказ о довольно сложных и запутанных условиях жизни их сообщества — молодых (и не очень) сторонников обновления исторической науки на марксистских (как это тогда понималось) началах и так называемых историков «старой школы». В тексте постоянно мелькает упоминание о неформальном противостоянии между ними. В этой ситуации Черепнин оказался в двойственном положении. Он явно тяготел к представителям дореволюционной университетской традиции как в научном, так и в социокультурном плане. Но своё становление в 1920-е гг. в качестве историка Черепнин описывает как трудное, но упорное освоение марксизма.

Показательный эпизод. Черепнин сделал доклад в РАНИОН «Теория денег Маркса», а на следующий день в стенгазете появился афоризм в его адрес — «О деньгах глаголь по Марксу, об истории по Соловьёву (о присутствующих не говорят)». «Я сильно переживал, ибо упрёк был несправедлив. Конечно, я тогда ещё не овладел марксистской методологией исторического исследования, и моя идейная зависимость от моих непосредственных учителей, не являвшихся марксистами, была достаточно сильной. Но для меня это было время большой работы мысли, идейных исканий, я стремился к изучению проблем социально-экономического развития, классовой борьбы, и всё это вело и должно было вести к марксизму. Говорю это не в оправдание (напротив, сознаю все издержки своего теоретического роста), а с тем, чтобы прояснить историческую перспективу» (т. 1, с. 106—107). В этой связи в своих воспоминаниях он не может открыто подвергать критике историков-марксистов, но осуждает их стиль внедрения новой науки и культуру поведения. Очевидно, что сам Черепнин являлся сторонником скорее конкретно-исторического, точнее индуктивного, подхода к истории. Ему претили эффектные, но мало обоснованные построения в стиле М.Н. Покровского: «В то время марксистская концепция русской истории вообще отождествлялась со схемой Покровского, а в его схеме было много вульгаризаторского» (т. 1, с. 119).

В то же время продолжала существовать «старорежимная» академическая культура. Молодой историк мог видеть её воочию. Он неоднократно посещал заседания Исторического общества и Общества истории и древностей российских. Заседания последнего происходили «импозантно», с соблюдением всех устоявшихся ритуалов (т. 1, с. 87). Чрезвычайно интересны портреты историков. Черепнин застал ещё много учёных, вышедших из дореволюционной университетской и академической среды. Своими учителями он считал С.В. Бахрушина и А.И. Яковлева. Давая характеристику первому, помимо колоритных описаний особенностей характера, Черепнин много внимания уделяет его политической и методологической позиции, причём отказывается от её определения, ограничиваясь формулировкой: «В моей памяти он останется как человек политически честный и как представитель передового научного мировоззрения» (т. 1, с. 79—80). Любопытнее упоминание о «подозрительном, настороженном отношении» к Бахрушину со стороны новых властей, припоминание его «кадетизма». Кстати, это будет преследовать историка почти до конца его жизни<sup>6</sup>. Интересно и заявление о том, что Бахрушин «раньше, чем многие другие дореволюционные историки, усвоил марксистскую методологию и на её основе пытался создать концепцию отечественной истории» (т. 1, с. 80). Утверждение явно преувеличенное, но, тем не менее, отражает реальное стремление Бахрушина «освоить» марксизм. Правда, это был «марксизм» в интерпретации Н.А. Рожкова<sup>7</sup>.

А.И. Яковлев на страницах мемуаров предстает человеком отзывчивым и готовым помочь другим. Это «был европейски образованный человек» (т. 1, с. 80). Черепнин отмечает организаторские способности своего учителя, особенно ценные в условиях скудности финансирования. Благодаря своим связям с государственными деятелями Яковлев сумел реализовать ряд крупных

<sup>6</sup> См. запись в дневнике С.С. Дмитриева о 1930-х гг.: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 3. С. 158.

<sup>7</sup> См.: Бахрушин С.В. Краткая схема русской истории XVII в. // Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987. С. 197—199.

археографических проектов. Здесь вскрывается любопытный феномен взаимоотношений власти и учёных — речь идёт о патронаже историков со стороны власть имущих<sup>8</sup>. При этом Черепнин признавал, что «методологически мировоззрение Алексея Ивановича было вне марксизма» (т. 1, с. 80). В то же время Яковлев считал его «официальной доктриной» и снабжал свои труды цитатами классиков марксизма, подобранными в том числе и его учеником. Спустя много лет, уже на защите Черепниным кандидатской диссертации в 1942 г. Яковлев сказал ему: «Марксизм вы выучили на зубок». «Если бы это был не Яковлев, то здесь можно было бы заподозрить иронию, но Яковлев, очевидно, искренне полагал, что марксистскую теорию можно вызубрить» (т. 1, с. 159), — рассуждал Черепнин. Надо отметить, что именно Яковлев дал Черепнину путёвку в большую науку.

Колоритно описан С.Б. Веселовский, с которым Черепнин работал над архивом Троице-Сергиевой лавры. Есть в книге и зарисовки о М.М. Богословском, Д.М. Петрушевском. Черепнин подчеркнул большое значение университетских лет в своей жизни. «Но в то же время я ещё не воспринял марксистско-ленинской методологии. Я ещё находился в плену иллюзий, полученных от своих учителей, о “чистой науке”. В занятиях историей я не руководствовался принципом партийности. Мне казалось, что политика — это одно, а наука — другое, и всякое вмешательство политики в науку лишь помешает установлению исторической истины. Так думали тогда многие университетские учёные. Внедрение марксизма в область научных исследований только развертывалось» (т. 1, с. 84).

Безусловно, регулярные сверки своего «методологического мировоззрения» с марксизмом здесь не случайны. Лейтмотивом для всех 1920-х гг. является приобщение к «официальной доктрине» (в её тогдашнем понимании). Приобщение, как видно, неудачное. Повышенное внимание к данной проблеме — явление любопытное. Скорее всего, мы имеем дело с феноменом «советской субъективности», ставшим объектом исследований только в последнее время. Под этим понимается стремление к относительно добровольной, психологической адаптации к новой советской реальности и попытка стать её частью<sup>9</sup>. Только в случае с Черепниным «советизация» оказалась равнозначной «марксизации» и усвоению необходимой риторики в исследовательском тексте. Для Черепнина освоение марксизма — процесс двусложный: с одной стороны — показатель его социально-политической лояльности режиму, с другой — трансформация его как исследователя. Поэтому внутренняя перековка научного мировоззрения должна была стать окончательной победой «правильного» политического мышления.

После университета путь Черепнина лежал в РАНИОН, где работали многие из его университетских учителей. Именно благодаря их протекции он сумел после провальных экзаменов поступить в аспирантуру этого учреждения. И вновь его симпатии на стороне тех, кто подходит к исследованию прошлого с конкретно-исторической точки зрения. Негативно он характеризует А.Д. Удальцова, который начинал «неплохо», но «затем переметнулся в область теоретических проблем, занялся этногенезом, и ничего действительно

---

<sup>8</sup> Подробнее см.: *Тихонов В.В.* Историки и советская власть в 1920–1940-х гг.: патроны и клиенты // Вестник РГГУ. Сер. История России. 2014. № 19. С. 193–204.

<sup>9</sup> См.: *Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1997; *Hellbeck J.* Revolution on my mind: Writing a Dairy under Stalin. Cambridge; Harvard, 2006.

стоящего не создал» (т. 1, с. 107). Интересны впечатления Черепнина о петербургских историках. Он подчёркивает их отличие от московской профессуры, проявляющееся даже во внешнем облике: «Какая-то особая ленинградская выправка, интеллигентность, сдержанность» (об А.Е. Преснякове); «Очень подтянут, очень умеет себя держать» (о С.Ф. Платонове). Упоминается и об «извечном антагонизме» московской и петербургской школ<sup>10</sup>.

Тяготение начинающего учёного к историкам «старой школы» настораживало историков-марксистов. В 1928 г. при переаттестации в РАНИОН его обвинили в том, что он «не марксист», но исключения тогда не последовало. 14 сентября 1930 г. наступил день, перевернувший всю жизнь Черепнина. Арестованный по делу мифической подпольной организации, он оказался под следствием. Воспоминания в немалой степени дополняют картину знаменитого «Академического дела», известную нам по другим публикациям. Арест и ссылка оставили тяжёлую психологическую травму, которая не залечилась и к моменту написания «Моей жизни»: «Все это вспоминается как кошмарный сон, причём сон, который продолжается и до сих пор. Часто и теперь я вижу во сне себя в тюрьме или ссылке» (т. 1, с. 133). Травмирующий опыт тюрьмы и ссылки преследовал Черепнина всю жизнь, не добавляя ему смелости в общественной позиции.

Возвращение было трудным. Прошло немало времени, прежде чем Черепнин смог вернуться к научно-исследовательской и преподавательской работе. В мемуарах довольно подробно рассказывается о том, кто помог ему в трудную минуту. Наверное, больше всего сделал его учитель А.И. Яковлев. Рядом была и жена — Е.В. Гальперина. На примере Черепнина хорошо видно, как трудно, преодолевая множество препятствий, возвращались в науку репрессированные учёные. Как известно, этому возврату способствовал общий поворот правительственной идеологии к «советскому патриотизму» и (пусть частично) традиционным ценностям. В таких условиях вновь оказались востребованы историки «старой школы». Черепнин передаёт настроение в их среде: «Мои учителя Бахрушин, Яковлев и другие историки ходили окрылёнными» (т. 1, с. 146). На них посыпались звания и блага. Время выдвинуло новых руководителей исторической наукой. Наиболее успешным оказался Б.Д. Греков, ставший директором Института истории АН СССР. Черепнин указывает, что к Грекову относились по-разному. С его точки зрения, «Греков сделал много полезного для науки и для учёных. В значительной мере его заслугой является, что в трудные годы культа личности... в Институте истории сложился хороший, творческий коллектив учёных... Привлекали к Борису Дмитриевичу мягкость, интеллигентность, умение общаться с людьми» (т. 1, с. 151). Тем не менее Греков ревниво относился к своим научным оппонентам и пользовался привилегированным положением для утверждения своих концепций.

В 1942 г. Черепнин устроился в московский Историко-архивный институт. Страницы, посвящённые описанию работы в институте и характеристикам его сотрудников, являются ценным источником по истории МГИАИ. Основателя кафедры вспомогательных исторических дисциплин А.Н. Сперанского он описывает как человека умного, но «ум какой-то иронический» (т. 1, с. 156). Другой

---

<sup>10</sup> Об антагонизме московской и петербургской исторических школ как культурном феномене см.: *Тихонов В.В.* Московская и петербургская школы «русских историков» в контексте дихотомии «Москва–Петербург» (конец XIX – начало XX в.) // Люди и тексты. Исторический альманах. 2012. М., 2013. С. 344–378.

заведующий, А.И. Андреев, учёный, по мнению мемуариста, «незаурядный, но особого склада: слабый теоретик и сильный документовед». В то же время он считал себя теоретиком источниковедения. «Это его и погубило», — пишет Черепнин. Очевидно, что здесь имеется в виду критика Андреева за приверженность методологическим принципам его учителя А.С. Лаппо-Данилевского. Черепнин намекает, что если бы Андреев сосредоточился на конкретном источниковедении, то сумел бы избежать критики. Черепнин считал Андреева открытым человеком, но мнительным и самолюбивым.

В Историко-архивном институте Черепнин вёл курс источниковедения XIX в., пользовавшийся большой популярностью у студентов. Здесь же он подготовил и опубликовал лекции по «Метрологии». Этот курс сыграл зловещую роль в биографии Черепнина. Неоднократно его обвиняли в том, что он воспользовался лекциями Н.В. Устюгова по метрологии, подготовленными им до ухода на фронт, некоторые (Б.А. Рыбаков) даже говорили о плагиате. Сложность ситуации заключалась в том, что курс был опубликован в то время, когда Устюгов считался пропавшим без вести на фронте. В своих воспоминаниях Черепнин останавливается на этом эпизоде специально. Он указывает на то, что построил свой курс иначе, а новые сведения, обнаруженные Устюговым в архивах и приведённые в его текстах, он не привлекал. Об использовании лекций Устюгова указывалось в обзоре литературы и введении к первому изданию серии — «Хронологии». По мнению Черепнина, нужно было срочно обеспечить студентов пособием. «И всё же я жалею, что написал и выпустил в свет “Метрологию”. Я был бы рад, если бы случилось так, что в своё время я этого не сделал» (т. 1, с. 163).

Отдельно останавливается Черепнин на тлевшем в институте конфликте «историков» и «архивистов». Первые (А.И. Андреев, А.А. Новосельский, Н.В. Устюгов, М.М. Себенцова) ратовали за широкое историческое образование, их противники (В.В. Максаков, К.Г. Митяев, И.Л. Маяковский, А.В. Чернов) считали, что приоритет необходимо отдавать архивоведению и связанным с ним прикладным дисциплинам. Естественно Черепнин был сторонником «историков». Противникам же их он даёт довольно неллицеприятные личные характеристики: «Мне казалось, что “архивистам” недостаёт общей культуры, широты кругозора, хотя в своём роде это были люди интересные» (т. 1, с. 164).

По инициативе С.В. Бахрушина Черепнина пригласили в МГУ, исторический факультет которого в то время «находился в расцвете» (т. 1, с. 168). Именно тогда историк оказался востребованным как никогда ранее. Его это окрыляло: «Я был предельно загружен работой — интересной, творческой, созидательной. Всё моё время было заполнено. Я чувствовал, что я нужен людям, что меня ценят. Это было так необычно после стольких лет вынужденной изоляции от людей, отрыва от любимого дела, невозможности жить творческой жизнью» (т. 1, с. 169). Возвращение в истеблишмент исторической науки было закреплено блестящей защитой докторской диссертации.

Последние страницы воспоминаний посвящены директорам Института, и автор явно не собирался ими ограничиваться. Упоминаются А.Л. Сидоров и В.М. Хвостов. О первом: «У него не было достаточно культуры, но был природный ум, здравый смысл» (с. 173). Сидоров «наломал немало дров», был «резкий, властный, даже самодур», но умел отличать людей, преданных науке. О Хвостове: «Был человеком культурным и образованным, но учёным-исследователем вряд ли его можно назвать» (т. 1, с. 174).



Повествование обрывается на фигуре В.И. Шункова. Остаётся только гадать, о чём хотел поведать историк дальше. Собирался ли он подробно описать годы идеологических кампаний борьбы с «объективизмом», а затем и «космополитизмом»? Или решил сознательно это пропустить? Собирался ли давать, как часто делают учёные, мемуарные портреты коллег-современников? Решился бы на политические заявления или ограничился только наукой? Вопросов много, но, скорее всего, ответа на них уже не будет.

Немаловажен и вопрос о том, когда хотел публиковать свои мемуары сам автор. Всё указывает на то, что они не должны были появиться при его жизни. Об этом свидетельствуют и резкие оценки многих коллег: «Этот алкоголик и ничтожный человек» (о П.П. Епифанове); «непроходимая дура» (о жене А.А. Савича, ещё работавшей в Институте истории на момент написания мемуаров) и многие другие. В прижизненных воспоминаниях такое позволяют себе только скандалисты. Черепнин – не из таких. Кроме того, он довольно подробно описал свой лагерный опыт. Очевидно, что мемуары были рассчитаны на посмертную публикацию.

Методологическое развитие Черепнина закончилось более или менее удачно: марксистскую методологию он усвоил<sup>11</sup>. Но это был уже не «вульгарный» марксизм 1920-х гг., а добротный, респектабельный, органично переплетающийся с высочайшим источниковедческим мастерством. Именно он оказался востребованным в 1930–1960-е гг. и стал визитной карточкой советской исторической науки. Такой марксизм не вызывал у Черепнина отторжения. Был ли Черепнин конформистом? Наверное. Нонконформистом он точно не являлся, охотно пользовался официальным дискурсом, с помощью которого объяснял окружающую реальность. Тот же А.А. Зимин зло фрондирует, а если и использует «нормативную» официальную лексику, то в противоположных контекстах, придавая ей новые смыслы. А Черепнин использует фразы именно так, как предписано. Если репрессии – то «нарушения законности», если белые – то «белогвардейщина», если сталинизм – то «господство культа личности» и т.д. Может, это дань цензуре? Не думаю. Черепнин именно так мыслил, а советский строй казался ему незыблемым. Всё это не в упрёк. Просто А.А. Зимин к концу жизни старался перестать быть советским историком, а Черепнин всю жизнь пытался им стать. И в этом смысле «Моя жизнь» – прекрасный памятник советской исторической науке, написанный одним из самых ярких и талантливых её представителей.

***Павел Уваров: «Берём на себя ответственность!»: Русский медиевист и институты представительства<sup>12</sup>***

*Pavel Uvarov (Institute of World History, Russian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics, Moscow): «We take responsibility!»: Russian medievalist and institutions of national representation*

В 1974 г. в Институте всеобщей истории обсуждали судьбу первого варианта «Истории крестьянства в Европе», подготовленного под руководством С.Д. Сказкина и Л.В. Черепнина. Труд двух академиков был «торпедирован»

<sup>11</sup> Назаров В.Д. Лев Владимирович Черепнин: судьба и наука (1905–1977) // Черепнин Л.В. Моя жизнь... Т. 1. С. 373.

<sup>12</sup> Материал подготовлен при поддержке РНФ, проект № 16-18-10393 «Самоорганизующиеся структуры средневекового города: генезис, классификация, механизмы функционирования».